

Андрей БЫЧКОВ

Андрей Бычков родился в 1954 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ (кандидат физико-математических наук) и Высшие сценарные курсы. Автор двадцати трех книг прозы и эссеистики (в России и на Западе). Книги и отдельные рассказы выходили в переводах на английский, французский, сербский, испанский, венгерский, китайский и немецкий языки. Лауреат Премии Андрея Белого (2025). В «Волге» опубликован роман «Графоман» (1994). Живет в Москве, занимается преподавательской деятельностью.

ЧИНГАЧГУК

Рассказ

Резкое ускорение рвало волосы с рельс. Было страшно в лесу. Было страшно с грибами. Лукошко вылезало у Федора из рук. Жилистые руки его несли лукошко. Товарный паровоз с тендером на крыше, оборудованный фуражкой, медленно надвигался через лес.

– Эге-гей! – крикнули в кабине.

Федор снял зимнюю шапку, поклонился, надел, снова снял.

Фарами позднего паровоза осветило лицо Федора.

Делать было нечего.

Залезать? Куда? Мимо берез в паровоз!

В кабине уже жевали, бутерброды и так далее. Бессмысленное *итакдалее* раскладывалось, как итальянские педали, складывалось. Вделанные в бутерброды с помощью челюстей и зубов рты – вращались и жевали. Может быть, кому-то захотелось поцеловать ртом женщину? Но уже подавали жирный грязный суп. Над кабиной проплывал дым, в руках Федора белело лукошко... Федор знал, что он не справится с разговором. Заржавленные рельсы возвращали в лес. Луна вспарывала озеро. И озеро было как фуражированный купаж.

Федор был уже в кабине. Паровоз с белогвардейцами сиял. Цари мира, белогвардейцы расселись на корточках и сидели на глазастых антрацитах, как на слепых поленьях.

Белогвардейцы топили жарко, до слез, бросали в жерло. Белый важный полковник жевал, рассматривал Федора в линзу. Под ногтями было черное золото. Федор знал, как наизусть, что надо вывернуться заново, вывернуться за полночь, наизнанку, как в карман, где можно снова залечь на лицевой стороне удовольствия и успокоиться. Но мысль, открытая косервантным ножом, уже лезла, как из банки. Слепые, глупые шпроты смысла, как глисты, которые выедают мир, что шпроты объясняют мир... Глухо залаял кот – мур, мур, аф... И на все цветенье лета – не было ответа.

– Пора вылезать, – сказал белогубый полковник, застегивая патронный шов на плече ружья.

Матриот с четырьмя просторными дирижаблями уже теснился кованными сапогами в метеорах шпор, спускался по узкой лестнице.

Матриот был патриот.

«Не оглядывайся», – сказал сам в себе Федор.

Полковник спустился по боку паровоза. Лес был уже как гулкий собор с трубами деревьев. Приветливые, с консерваторией озера, дубы и осины медленно заводили прояснение бликов, что он, Федор, никогда не мог поделывать ничего. Отражение колодезной судьбы было зыбко и прекрасно. Осознание, как осознание белых грибов, как

будто лето снова вернулось за земляникой. Запах в душистых волосах, ласковый пушистый зверек, когда кто-то выстрелит в затылок. И Луна – раскалывающая надвое – Луна. Полковник, однако, отдал ему кобуру от ружья и разделся сам. Голый, с пистолетом типа маузер или винчестер, полковник вдруг радостно подпрыгнул и, поджав ноги, завис, как неподвижный фонарь под козырьком, в позе носорога. Снизу глазастый антрацит в бликах, как на куче-мале в тендере, как будто подпирал его уже в дыме воздуха, выходящего из окорачивающей трубы. Заржавленный от рассвета крик в горле Федора застревал, что выстрел седой почему-то не раздавался, не наступал.

Лукошко было уже полно. Поцелуи на соснах впечатывались, как босые детские. И круглая птица уже облетала тендер по квадратной дороге. Сложно заглядывала она то в одно окно, а то через корпус паровоза в другое, где все еще ели и жевали широкомордые тупицы с черными королями на ферзях. Насели тупицы на ферзей и сами, и на носах их задували блески из окна загаженной грачами фрамуги, блески были белогвардейские и не очень, как колеса похабной песни.

– Я хотел бы объясниться, – сказал Федор.

– Понимая *что*? – отозвался, кряхтя, полковник.

Федор отказался. Стало стыдно, темно. Жаркий поцелуй удовлетворенно сосал.

Где взбиты дыбы волос?

Где дебри земли, которые еще могут, как индейцы?

– Взаправду земляникой я вас накормил, – сказал полковник, присаживаясь и всаживаясь обратно в мундир. – Как в шпротах, назавтра я подарю вам медный синдром штопора. Но это будет не паровозное шоу. Хотите – выбирайте, как тяжелое наезжание острого колеса. Или – оставайтесь до среды.

– Я останусь до среды, – ответил Федор.

– Пожалуйста, – вежливо сказал полковник.

Длиннобородый дирижабль уже уносил его ветром и осторожно всаживал в паровозный тендер, как в грядку репку.

Федор понял, что у него еще осталось немного времени, чтобы распорядиться.

Поцелуй обволакивал, как друг друга, как два языка, нашаривал сознание с двух сторон.

Паровоз по-прежнему мычал на месте, как у бензоколонки, лишь бы проехаться рогами по дождям.

Федор понял в мозг, как струей чистого, что шанс, как шатен каштанового пламени не воскреснет, что тихий, как блеск в аллеях и как тень узора, пусть вырванного с корнями неба деревьев и зеленоглазых яблок новогоднего Деда Мороза еще может принести ему легкокрылые детские впечатления. Что каштановый шанс остается до среды. Органы деревьев уже запевали ветер в трубах и открывали нараспашку ночь. Рыбная многопалубная кость уже давилась в доке горла. Полковник сосал.

Федор полез ногами вверх.

Куда? Куда? – билось в сердце.

Вторник уже просыпался на бровях его, выполаживался, скользил, падал, капал с носа в раковину.

Это была лесная раковина, лежала она внизу, у озера, как зажги-фонарь. Грот пещеры для чихания, как бесполезный генерал, заклеенный бумажкой.

Что всаживание вежливое возвращения чего?

Что он ей скажет?

Что она по-прежнему сидит недалеко от Иллюзиона на лавочке, который всего лишь кинотеатр по совместительству? А он, Федор, влажный, как бухгалтер на асфальте? Что ничто никак не кончается и не кончится никогда? И что так, в принципе, все нормально, как, в принципе, и у каждого?

Паровоз с горьким дымом, заевшим глаза, не вез, и не кричал на месте. Мягкие рельзы паровоза скукоживались на глазах, как штанги на карикатуре; а после вторника

сразу наступал четверг; джунгли усилий над средой и на нижних и на верхних руках верхних полок ни к чему не вели, конец был один.

Федор уже полоскал рот понедельником. Рот проистекал из зубного полоскания. В голове было слишком много мягкого тока и напряжения от принципиальности сознания. Сломанное отражение головы не могло понять на лице из-за возраста своего зеркала. Прорубь зеркала оказалась гораздо глубже, чем сам понедельник, на котором, как на коне, гарцевала галстуком пятница, и губительный длинный блеск пятницы пружинисто и болезненно блистал на ее складчатой шее. Это была все та же странгуляционная, как велосипед, полоса одного поцелуя длинной в целлулоид целой женщины, которая вечно лезет в не те ширины и наматывается не на ту бобину, ошибается в поиске ошибки, что на тот корабль, на узду того корабля поднимается только неправильный флаг.

– Обратно, обратно... – горько заплакал и закричал Федор, отматывая жидкое зеркало надежды назад, за *как это называется*.

Кто был, как тогда, когда?

Кто зачем-то и консервативно?

Кто-то, кто был, кто?

Чего ему надо в конце концов?!

Сволочь!

Как лакей дворца, как через горло, как пытался говорить через него Федор?

Как Федор пел, как болезненный нож, пел все ниже и ниже, из бронха, как сварщик плевр?

Но кто был сварщик плевр?

Велосипеды в зеркале все опять и опять выезжали не туда, не давали ответа вкривь и вкось, и присаживались, как бронзовые голуби на памятник. Иллюзион рос на черных бровях, как белый гриб в болезненной темноте воспоминаний. И не Федор, а... Фабр!.. невинный, как конь, да, Фабр с любопытными копытами, с неистовством первопроходца уже сваривал на крыше знойного здания могучую чугунную звезду, не то чтобы как на кремлях запустений, те были рубиновыми от счастья, а эта чугунная была как струящееся надгробие кинопроектора и давила кровь линз, в давальню корней и гардероба, где была только точность пальто, точно входящего в руки и ноги, и где точность точно входила и в поясицу, как в приемную, и где точность была настолько подобна подробной выкройке грибника, что никаких сомнений уже не оставалось.

На губных гармониках играли в кабине паровоза ферзи, раздвигая резиновые губы до красноты и сдвигая детскими деснами обратно, как будто вытягивали трубы высокого визуального органа, растягивали наверх, как длинную резинку собора, которую пережевывал маленький шарманщик в маленькой деревенской церкви. Паства стояла дождями, как снаружи, за белой стеной, так и изнутри, но их было немного.

Скорость вращения наверх Федора подвергалась о настырность опасности. Луна уже дрыгалась, как драндулет, заводился, тарактел бессмысленный усатый мотор производства логики. Но на отважную икру сварки безболезненной трубы трубопровода уже летела галстук-бабочка вместо странгуляционного шва.

Тут надо Фабр.

Тут надо увидеть Фабр, думал не Фабр, а Федор.

Фабр как тот другой портной с кривым глазом.

Как она летит, галстук-бабочка.

Фабр благословенный, в четырех белых, чертяка виртуозно вселялся в любые рельсы, как шпангоут в корабль посреди виноградного моря.

Фабр, как не предать тебя, не распять тебя, как влажную, только родившуюся из штангенциркуля шва двух моторов, вдруг раскрывшихся, как из-под двух крылышек – не спеши – галстук-бабочку.

Не спеши слева и не спеши справа.

Ягненок ли уже стучал, забивая сваи свои?

Ягненок ли рыл подземный потолок для зеленого побега в надежде остаться безнаказанным?

Кто же, быстрый на ответы задачника, не захочет работы роста?

Кто же, как слепой блокнот салона вместо короля природы, был заклеен, как бумажка?

Иллюзион в отверстие.

Вина была за отверстием.

Как хотел Иллюзион, так и дул, квадратно он, на берегах Москва-реки.

Пыхтя в неизвестном направлении, Фабр уже неправильно пролезал из заизвесткованного горла Федора и, упрямый и мучной, вываливался в спортзал на второй этаж, благородно прополоскав головой люк. И так увидел Фабр проблему кресла, стояло которое на четырех маленьких стульях. На кресле сидел директор кресла, темный, как фонтан.

– Здесь надобно рассказать историю про сапожника, – сказал директор, которого звали Станислав, слегка подсмаркиваясь и доставая огромную, во весь кабинет, носовую скатерть.

Федор, ослепленный от разъятости зеркала, где в глубинах нижнего возраста он не мог найти ботинки, уже задыхался от негодования, но Фабр отвечал за него, как на выпускных экзаменах:

– Ботинки были босой работы... – начал было Фабр.

И директор крикнул.

Глядя в провал зеркала, где он уже сидел со Станиславом и пил чай, и дул на горячее малинового выплывающего листа, Федор Гамбусов, живой, в ноздрях вечерних запахов, как стриж в Подмоскowie, вдруг увидел друзей; и друзья были как грузди в одном лукошке, и потеснились навстречу друг другу; а в другом, отдельном, четырехэтажном лукошке, соревновались белые, спортивные по счастью. Сшиты грибы были добротно, на ручном станке. Зубрили грибы а плюс бэ, плюс и вэ еще, помноженное на дэ, что было, конечно же, откровением обожествленным, потому как вэ никогда не множится на дэ. Дружба на двух дирижаблях с тендером в корзинке не имела никаких последствий с голыми полковниками, поскольку поцелуй вдруг врывался с обратной стороны ветра и целовал не в затылок, а в небритые щеки между ног. И то был поцелуй не простой.

– Тебе надо купить галстук, как у него! – закричала женщина с экрана в мужелобные доли мужа, и плоской линзы муж покорно съехал по экрану вниз между двух кадров, как между чьих-то ляжек.

Но тут, не к месту, звякнул какой-то блядский мессенджер!..

Грузди уже, было, тесно сидели в лукошке, посаженные, как в темноту непредвзятости невидимой рукой. Иллюзион, исполненный шлюза и вежливости, уже спускал в их сознания, как зимний луч в завораживающую ночную ночь, исполненную летнего белого смысла, одну замысловатую теорию.

Фабр, бухгалтер по образованию, помилованный высшей властью, обладал, однако, легкостью разведчика на ярмарках. И готовился получить приз за вращение воды. Фокус заключался легко в наведенной резкости, как луч показывал довольно четкое изображение подводного незнамо где, неразличимое вблизи дна.

Неудобность и ненадобность реальности, как уже размышляли вслух некоторые грибы под шорох асфальта, высунувшись из лукошка, заключалась в лишних ненужных моментах бессовестной склейки. И качали грибы головой.

Мост, с которого друзья рассматривали башню под названием Иллюзион, соединял оба берега, перебрасывая их через реку. Один груздь уносил в себе белый гриб, как Станислав образ сапожника. Эта была все та же болезнь, директор как будто познакомился с ней, когда история требовала непредвзятости. Но в ночных подвалах раздвигались только отзвуки эха. Эхо окликивало себя по сторонам, как будто не было никакой новизны. И одна и та же история возвращалась и вращалась, как Лао-цзы.

– ...орви, – чихал Гамбусов с моста в пространство, на другой стороне над рекой высился другой берег, и, как морской ёж, Федор Гамбусов надувал усы, колол, выпаривал соль, до, ре, ми, реконструировал паровоз и прочая.

Станислав же бегло убегал по рельсам, оправдывал антрацит и бессовестные склейки. Станислав не смущался подробностями, проплывающими мимо усов Федора.

Велосипедная цепь причины и следствия давно уже натягивалась чрезмерно, чтобы порвать резиновую шестеренку. Мотор сломал паровоз, и голый полковник напомнил об истекании времени. Оставалось еще и намазанное на бутерброд воскресенье. Бродячий бутерброд времени бродил по пространствам с выколотыми глазами, как лихой циркуль. Но сосать надо было всегда.

– Надо сосать всегда, – удовлетворенно сказала женщина.

И Гамбусов откусил бутерброд, он, Гамбусов, как рыба через жабры, стал почему-то как корабль шпангоутом. Фабр же шил море далеко наверху, на воздухах, чтобы перейти море по воде. Взламывая лед в длинной книге, вспарывая шов в ветхости завета, Фабр как индивидуальный циркач уже трубил стремительные побудки, как горнист на заре горна, восстающего из вод. Фабр трубил и волны в корабль, и порт. И Луна уже была готова причалить к самому Солнцу.

Станислав спал, ребенком положив руки на голову. Директор спал в своей голове и сон вжимался в его голову, как на экране сновидений, и там Станислав примеривал бабочку Фабра, как жгучее наслаждение от незнакомой женщины, как брак, стоящий поперек на запрете.

– От лица кресла скажу тебе, мой дорогой друг, что ты стоишь на мне уже давно, – начал было Гамбусов голосом доктора спелеологии.

Кресло было наверху и внизу, и между Гамбусовым и Станиславом на стульях была расставлена изумрудная скрижаль. Герметическая скрижаль эта то скукоживалась, как гармошка, и не кончалась, как рог носорога, а то, трубя в разверзающийся ветхий шов, раздвигалась, конечно. То были-были и чики-чики подкрались незаметно к застрявшему в кинотеатре паровозу. Красно-черный, с белым полковником на борту, от нетерпения паровоз задрожал. «Мур-мур! – заурчал и залаял паровоз от озноба дрожи. Полковники уже один за одним спускались по боковой стальной лестнице тендера, и первый полковник – во второй раз. Влажная трава вымени коров, облитая молоком, как из – пух-пух! – Луны, уже нежно ласкала ступни. Полковник был гол. На этот раз он разделся еще на морозном зеркале, пряча свой мундир в антрацитах льда. Но Белая гвардия по-прежнему почему-то играла в Красную. Трубы ли, горны ли черных ферзей, и белые ли короли всаживались в красный рот?

Полковник, на шее которого болталась, как колокол, коровья портупея, уже, как зверский кот, бежал, было, по следу; где в гроте, придавленный камнем вины, Гамбусов намеревался воскреснуть после удара пули в лобную кость, как в чем родила мать.

– Готовься! – крикнула женщина.

– Я готов! – крикнул Федор.

Ветер зашелестел, как праздник, и уже собирался брызнуть кровью, как из брандспойта. Наклонились траурные дома, присели безнаказанные улицы. А голуби и жёлуди удивленно и выпукло из желтых белков уставились на Иллюзион.

Но в чем была причина тархтения летящего через ночную ночь, еще никто не догадывался.

В глубине странгуляционного разреза засветилась боль. А голубиное яйцо горла задрожало, как свежесодранный кадык. Криком плоти платил Станислав за второе рождение. Видимость и зримость основания языка директора была кровь.

Фабр, однако, был далеко на воде на белых ступнях, как лоцман венчания разреза. Бабочка была праздником навеки. Навсегда теперь она была врезана и раздирала горло Станислава все шире и шире; и бессовестные улицы распахивали слепые окна, чтобы зрение вернулось в их комнаты.

В одной из комнат офицер Федор Гамбусов, наклонившись над запретом полковника, уже собирался назвать преждевременный ответ.

Как белый клык, ответ возвышался в самом конце мясника задачника. Как свиньи, из сарая торчали кони; и мальчик просил очки.

Поцелуй сосал, как отца самого себя.

– Ты хочешь свести меня с ума?! – закричал Федор. – Но запомни, у тебя не получится!

Экран завибрировал от возмущения. Фабр легкомысленно заулыбался и окончательно покинул пространство Федора. Равнодушно и весело он уже взбалтывал бело-желтый гоголь-моголь.

Все было решено.

И тогда полковник выстрелил. И Федор кончил.

Соскользнув с экрана, женщина уже пронзительно бежала через мост, пряча в чулки запретное слово из распахнутого горла.

Довольный собой, Федор же находил себя с газетой на диване. Поперек языка в газете было написано ночным журналистом о происшествии. Плоские, как голубиное яйцо, последствия призывали к полемике. А на кухне над истерикой раковины рыдала жена. Несвобода небосвода ночного сковывания обжигала ее руки над кастрюлями. Тайный собачий кот терся о ее небритые ноги и виновато заглядывал в глаза ради корма горла. Пролаявшись четырьмя лапами три раза и облизав для приличия пустое блюдо, кот удалился на балкон, чтобы холод, как перемена времени любви и места – потому что на кухне расцветал июль, а на балконе выпал, как из открытого окна, снег, – помог выкристаллизироваться внезапному решению; и холод вызвал еще более яростный аппетит. Окно балкона с огромной фрамугой уже было приоткрыто, и внизу разверзалась высота утраченного. Задумав выброситься вслед за птицей, кот Анфиса высунулся, было, в проем, но быстро передумал. Лететь было довольно далеко, а падать горько; и коту Анфиса хватило гордости не умирать. Полаяв на любопытных голубей и покаяв для шороха в кухне закрытую за ним дверь балкона, как он научился это делать непреднамеренно, в смысле закрывания, кот Анфиса пролаял своей собачьей мордой в стекло стеклянного окна и был впущен пружинистой струей кошачьей шерсти, и молнией бросился к блюду, где уже была навалена говядина из пакетика. И стал жадно жрать.

Из разреза сочилась красная жизнь. С целлулоидной женщиной Станислав жил уже давно. Кукла мечты его была затянута в черный корсет, как фиксация; и не давала ему вырваться из горла.

В странгуляционном разрезе уже давно белел рассвет.

На другой же стороне Черной Площади чернела в рубиновом черноземе черная звезда черного кремля. И кто-то уже рыл у себя на огороде, где когда-то похоронили индейца. Великий и могучий Чингачгук, который мог гнуть любые рельсы любой силой ртути и сгибать паровозы обратно в сталь, был закопан на дальнем, неиспользуемом, конце участка. И только ботинок Чингачгука еще едва заметно выпирал из почты огорода.

– Федор Гамбусов мертв, – сказал директор Станислав. – И это моя вина.

– Не твоя, – зевнул из чернозема Чингачгук.

– Должен ли я пойти к женщине? Кормить лающего кота?

– Должен.

– Тогда дай мне хотя бы один ботинок! – закричал Станислав через разрезанное горло.

На ручной коже Чингачгук вытащил из чернозема мокасин.

Мокасин блестел и был мощным и настоящим. Чингачгук глубоко задышал под гробом наваленной обстоятельствами почвы. Невидимый и бесстыдный, как улица, Чингачгук глубоко заулыбался в земле.

– Что давно уже не осталось, чему верить, – грустно сказал Станислав.

Он повертел мокасин под Луной и надел на одну ногу.

И слепой, как тополь, усмехнулся ветер с самого верху.

Директор Станислав знал, что не надо было ничего пружинисто расспрашивать и в одном мокасине вернулся обратно в свою квартиру.

Гамбусов валялся в углу, завернутый в газету «Правда». Целлулоидная женщина подметала пол. Кот жрал цветы из стакана.

Вытерев мокасин, Станислав развернул Федора, зашелестев крыльями газеты, которая напрасно изображала себя на фотографии современной; на обратной стороне фотографии рекламировался матрац.

– Вынесешь ведро? – спросила женщина.

– Вынесу, – ответил Станислав.

– Вынеси заодно и старый кол с балкона.

– Хорошо, – сказал Станислав.

– И возвращайся скорее, – засмеялась женщина. – Пора ужинать и спать ложиться, и вжиматься крепко-крепко.

– Как Москва-репка, – засмеялся счастливо Станислав ей в тон.

И, как на крыльях, полетел к мусоропроводу. В подробностях мусоропровод выислся напротив лифта (и был вделан в дом трубой).

Но звезда разреза глубоко остановила директора.

Смятение Станислава было как соль в ясную ночь.

Он знал, что целлулоидная женщина уже выковыривала указательным пальцем пулю из мертвой головы мужа. Она никак не могла зацепить пулю всем пальцем до сгиба, и наконец подцепила ее ногтем. И с криком маленькой боли от – может быть, и слегка надломленного, а то и сорванного ногтя – вытащила наружу. Боязнь и болезнь оставленного в голове покойника живого ногтя не давала ей покоя.

Федор зашевелился и задышал.

– Где моя газета? – спросил он. – Что там написано на завтра?

– Правда, – сказала целлулоидная женщина, лупоглазо рассматривая ожившего, как будто тот был голубем с балкона.

– Станислав не вернулся?

– Пока нет, – ответила она, отводя глаза.

– А когда вернется?

– Как только выбросит ведро.

Станислав шел по тонкому льду. Мокасин был слегка велик ему, но нога не то чтобы прорастала в просторные внутренности пространства мокасина, но все же как-то привыкала потихоньку и обживалась. И передний зазор в передней части мокасина, где произрастал большой палец Станислава, который почему-то директору хотелось назвать сейчас указательным, наверное, потому, что тот торчал, показывая путь снизу, хоть и будучи в кожаном замкнутом пространстве, вблизи асфальта, скрытый темнотой мокасина и надежно защищенный от нижнего льда в скользко замерзших лужах внешним дном подошвы, что было довольно подробно, да. Но в целом мокасин был, как лодка. Другой же ногой Станислав отталкивался, как на самокате. По замерзшим дождям катился директор, как с одной рукой.

Женщина еще дергалась у лифта, она же обманула мужа и со слезами пошла прилипнуть воспоминаниями бесстыдных подробностей к ручке оставленного у мусоропровода ведра.

– Вёдро, – сказал Гамбусов, – это значит хорошая погода.

Она закрыла за собой дверь, и Федор сладко сглотнул.

Перед кроватью Гамбусов делал приседания, и суставы приятно затрещали.

На Черной Площади, однако, собралось уже много народу. Здесь были и белые, и красные и фиолетовые с гражданских панихид; и все они жаждали крови. Но Станислав был и так уже мертв.

Черные волны волновались над черным морем, и белые баражки лозунгов стегали то тут, то там.

Ждали Фабра, но... снова выпал Федор.

И как на е-два – е-четыре, доктор спелеологии щелкнул пальцами, он же был хороший фокусник. Но не то чтобы ему никто не поверил, просто стали ноздревато подозревать, что в кармане у него ничего нет.

– У тебя есть ферзь? – крикнули из толпы.

– Есть! – крикнул Федор.

– Покажи!

Гамбусов пошарил по карманам демонстративно.

Толпа, затаила, как от икоты, паузу и ждала. Незаметно поднимаясь на цыпочки, толпа готовилась уже налететь, обрушиться на Гамбусова и смести его вместе с палубой.

Но ферзь вдруг нашелся, и Федор вытащил из кармана ферзя.

– Ай-яй-йяй! Вот ты где! – хитро засмеялся Гамбусов; он уже держал дрыгающегося ферзя за длинные уши, как пойманного зайца за воровство капусты.

Ферзь обиженно хлопал мучными глазами как будто только что проснулся, и делал вид, что не понимает, где он и кто он, и что всем хохочущим до слез от него надо.

Толпа и вправду покатывалась от хохота, съезжая то на один конец Черной площади, то на другой; толпа содрогалась как куриный бульон в кипящей кастрюле. Даже грачи заулюлюкали на черных шпильях, срывая в когтях рубиновые звезды и прилаживая их обратно покрепче. И под хохот Федор, довольный фокусом и самим собой незаметно исчез.

– А Станислав не вернулся? – спросил он жену уже в прихожей.

– Пока нет, – грустно сказала она, глядя в ночное стекло, за которым невозможное и необъяснимое корчило из себя рожи грусти и гримасы печали, словно бы оправдывая все, что есть; что все есть так, как есть, что случилось, как случилось, глубоко, и до глубины которого не докопаться.

Но как директор пустого пространства Станислав был, конечно же, жив.

Где-то в директорской зазвенел комар.

И кому-то хотелось, конечно же, верить, что изнутри жизни комар не имеет конца. Что комар по-прежнему бесцельно слоняется по директорским комнатам. Наскакивает, отскакивает от стекла. Что упрощение комара ни к чему не ведет. Что комар как глаз, который можно потереть, если чешется. Что на основании комара не выпускается корабль из доков. Но под прикрытием грозы, когда лес трещит по швам, и деревья падают, как птицы, чьи-то отряды еще могут отойти. И хотя воздух и состоит из пустоты, строго дозированной на молекулярном распятии, все простые вещи по-прежнему расставлены по простым местам. Дрожит в бутылки вода, надутая газом. Кожа кресла по-прежнему напоминает кожу руки. Вода дрожит, нога лежит. На кресле лежит нога. Пульс крови передается в подрагивании бутылки. А газа не видно. Что и с чем соприкасается? Неисправный мир кладет одно на другое, как кресло на стулья, когда уже другие вещи вынесены. В развитии нет смысла. И только неисправный закон неисправного мира по-прежнему неисправно делает свое дело. Оно только одно и было. Всегда дело было только одно – безумие, смерть и отчаяние. Три простых слова истины. И хотя логика эта проста, седой комар будет жить бесконечно. Потому что бессмертие комара подобно высокому зданию у реки, где глубоко в недрах зрения скрыт его легкокрылый кинотеатр. Иллюзион зрения – точная оптика неисправного закона, и, хотя закон починить нельзя, мир совершенен в своей неисправности.